

Предисловие

Каменная усадьба на холме, старинный парк с аллеями и река с интригующим названием Тьма. Впервые я приехала в Берново в 2003 году, сразу после учебы во Франции. Я жила в самом центре Парижа, на улице Аркад, в бывшей комнатке для прислуги на шестом этаже, гуляла по Тюильри и Елисейским Полям и думать не думала, что однажды приеду в далекую тверскую деревню и полюблю ее всем сердцем. Легкая запущенность и безыскусность русской усадьбы сразу отозвались во мне. словно я вернулась домой после долгого путешествия и решила остаться навсегда.

Но особенно меня впечатлил дом. В родительской семье не было никаких довоенных, а тем более дореволюционных вещей: я выросла в Беларуси, где после войны ничего этого не осталось. А в Бернове меня встретили сундуки, старинные зеркала, иконы и фотографии нескольких поколений Сандальневых. Семьи, жившей здесь, в большом деревенском доме с высокой мансардой, со старинной лестницей, с пристроенным двором, где, кажется, еще вчера были коровы.

Мне рассказали, что женщины, хозяйничавшие в этом доме до меня, были очень волевыми и сильными. Мне не пришло в голову соперничать с их памятью, пытаться их вытеснить, наоборот, я достала вышитые их руками подушечки и расстелила их скатерти. Мне кажется, что именно приятие, сочувствие этим женщинам натолкнуло меня на мысль написать книгу о семье, о тех людях, которые были здесь до меня, ударились макушками о низкие косяки, просыпались от шума дождя по крыше, баюкали детей, пели, празднова-

ли, но и горевали, переживали революцию, ждали писем с фронта, боялись продрозверстки и прятались от немцев.

События, которые произошли в Бернове и в этом доме в первой половине XX века, захватили мое воображение. Я попыталась скрупулезно, максимально достоверно восстановить их в моей книге: переписывалась с историками, собирала воспоминания, изучала архивы и старые письма. Но несмотря на то что и помещик Вульф, и управляющий Сандальнев, и безграмотная крестьянка Бочкова существовали на самом деле, личная история Катерины — не более чем смешение многих семейных притч, услышанных мной во время написания книги и задолго до этого. Однажды эти истории сложились в одну — о простой русской женщине с ее бедами и радостями. Так получилась книга «На берегу Тьмы».

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине...

(1 Кор. 13:4–6)

Глава 1

В полночь на улице раздался невообразимый шум. Грохот и лязг металла сопровождались криками и воплями. Село не спало, но ни одна живая душа не смела выглянуть в окно. Даже собаки от греха подальше были заперты во дворах заботливыми хозяевами.

На тревожном небе показалась бледная луна и на мгновение осветила шествие косматых женщин в белых рубахах.

Впереди молоденькая девушка молча несла темную икону святого Власия. В центре нагая старуха с хомутом на дряблой шее тащила соху. Женщины, которые только что заботливой рукой поправляли одеяла на спящих детях, качали зыбки и пели колыбельные, беснуясь, били в сковороды, неистово гремели чугунками и яростно стучали косами.

Одна из женщин, ядреная, грудастая, протяжно затынула: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас...» Как только она пропела в третий раз, другие исступленно заголосили:

«Смерть, выйди вон! Три вдовушки молоды, четыре замужних, девять девок рядовых! Мы запашем, заскородим, помелами заметем, кочергами загребем, топорами изрубим, косами скосим, ножиком зарежем, цепом измолотим. Секи, руби смерть коровью, вот она! Вот она! Сгинь, пропади, черная немочь! Запашу, заколю, зарублю, загребу, засеку, замету! Секи, руби! Здесь смерть! Вот она! Бей ее!»

Женщины, готовые убить каждого, кто попадет на пути, проклинали смерть.

Ярмарочная площадь пестрела красками и гудела. Толпа разряженных крестьян колыхалась, как нескошенное разнотравье от порывов ветра. Весь уезд собрался в Бернове на открытие памятника Александру II.

Упав на колени на давно не выдавшую дождей землю, пришлые и приезжие подхватили «со святыми упокой». Бабы уголками цветных платков размазывали по пыльным щекам слезы, а мужики, не смущаясь, сморкались прямо на землю. Дети, не чувствуя еще благоговения и не замечая шиканья взрослых, весело крутились вокруг телег, жевали привезенный с собой хлеб и горланили.

Наконец певчие затанули «Спаси, Господи, люди Твоя», и народ с хоругвями торжественно двинулся к укрытому белым покрывалом памятнику. Хоругви несли трое ветхих стариков, которые на себе испытали крепостное право, а икону Александра Невского — моложавый ветеран, служивший при жизни Александра II во дворце.

Земский начальник, выдержав приличествующую моменту паузу, с гордым видом взрезал веревки — и белое полотно потекло, запузырилось и наконец соскользнуло. Перед народом предстал величественный монумент Александра II в мундире с погонами. Радостный гул прокатился по толпе. Те немногие, кто знал грамоту, могли прочесть на высоком постаменте надпись: «Государь император самодержец всероссийский Александр II царь-освободитель». Ниже был выбит гербовый двуглавый орел, а под ним — заключительный абзац из манифеста об освобождении крестьян. Площадь накрыло оглушительным «Ура!!!», и тут же грянуло: «Боже, царя храни».

Николай и Павел Вольфы наблюдали за торжеством издалека, стоя на пригорке под раскидистыми ветвями сосны.

Их покойный отец Иван Иванович, будучи русским дворянином, происходил из старинного немецкого рода. Однако никто из Вольфов не дослужился до больших чинов, не женился на знатных и не имел богатых поместий. Усадьбу в Курово-Покровском Иван Иванович еще при

жизни отделил старшему сыну Павлу, а Берново досталось Николаю.

— А вроде бы и хорош памятник, — прищурившись, сказал младший Вольф. Он до последнего не верил, что торжество, организованное безалаберным комитетом, все-таки состоится.

— Хм, а где заказали? — больше для проформы поинтересовался Павел. Он беспокоился об обеде, который в это время готовила кухарка, — как бы не остыл.

— В Петербурге, на заводе Новицкого. — Член Старицкой уездной земской управы Николай волей-неволей знал все подробности.

— Невероятно! Сами? Крестьяне сами заказали памятник в Петербурге?

— Так ведь пятьдесят лет с отмены крепостного права. Надумали праздновать, а там уж идея с памятниками, как водится, подоспела. Вот и в нашей волости создали комитет, собирали деньги по дворам. Можешь себе представить.

— И много?

— Сто пятьдесят рублей набрали. Но говорят, что и силой выколачивали. Деньги-то для крестьян немалые.

— Н-да. Дело жизненно важное: памятник! Хлеб с лебедой поедят — не привыкать, — хмыкнул Павел. — А что за материал?

— Цинк, покрытый бронзой.

— Ха, а крестьяне хвастают, что чистая бронза.

— За сто пятьдесят рублей? — покачал головой Николай. — Штампуют чуть ли не сотню за день! Несколько тысяч уже нагромодили по всей России. Вот и у нас теперь стоит.

— Да лучше бы на что-то полезное потратили, честное слово. Так ведь нет. А они у памятника лбы себе разбивают. Патриоты.

— Дворяне, Паша, им больше не указ. Сами заработали — сами и потратят. Тысяча девятьсот двенадцатый год на дворе! Крестьян теперь не меняют на борзых щенков, не из-

бывают до полусмерти розгами — ты и сам знаешь, до чего порой доходило. За людей не держали. А я воевал бок о бок с такими, что сейчас на площади на коленях стоят, и скажу — многие из них по смелости и отчаянности иных офицеров превосходят. Так что да, патриоты.

Павел некстати вспомнил про домашнюю наливку, которая ожидала его в погребке, и нервно сунул дрожащие руки в карманы:

— Да я разве за крепостное право? Я разве против царя? Меня памятник этот удивляет, честное слово. Размах. Многие последнюю копейку, как ты сам говоришь, отдали.

Николай рассмеялся и обнял брата:

— Это в тебе, Паша, немецкая кровь говорит. А у русских — гулять так гулять, пусть и на последнее.

Довольные праздником крестьяне не разъезжались еще три дня. А в «Епархиальных ведомостях» вышла статья на несколько страниц, чего со Старицким уездом никогда еще не случалось.

Накануне Успения с полей убирали рыжий длинноусый овес, а в воскресенье, как и положено, отдыхали. Лето выдалось грибное, и Федор, расплевавшись и с женой, и с матерью, решил отправиться на дальние Коробинские болота: «Эти бабы! В ногах путаются только!»

Он хорошо знал лес: еще отчим места показывал. С тех пор мешками грибы таскал, а бабы только и успевали солить, сушить и жарить. В хорошие годы возили в Старицу на базар. Там Федор Дуську, будущую жену, и увидел.

Сегодня Федор встал, как всегда, засветло, накинул старый замызганный сартенник¹, обернул ноги суконками² — и в лапти, сапоги жалел. Прихватив латаный холщовый мешок, торопливо приник к бутылке, припрятанной в поленнице, и поспешил в лес. Позвал с собой старшую дочь,

¹ Легкий кафтан.

² Лоскутами сукна.

Катерину. Чужих за грибами обычно не брали, чтобы места не заприметили, а если и случалось идти с кем-то, долго ходили кругами, путали.

Коробинское болото каждый год жадно затягивало беспечный заблудившийся скот, не брезгуя по случаю и людьми. Пожары на гиблой трясине не прекращались ни зимой, ни летом. Но делать нечего: грибные места вокруг Дмитрова давно уже выбрали более поворотливые непьющие соседи.

Катерина, набрав полную корзину белых, присела отдохнуть и вдруг услышала за деревьями лай собаки. Побежала на голос и оторопела: в темной болотной воде барахтался человек. Увяз крепко. Его собака вилась рядом, лаяла, не в силах помочь хозяину. Катерина бросила корзину и наклонилась к рощице березки, которая росла у самой трясины:

— Давай, миленький, держись!

Но деревце оказалось хилым, молодые ветки обрывались. Человек стал еще больше тонуть — вот уже скрылся в зеленоватой от ряски воде по шею, беспомощно протягивая руки и пытаясь ухватиться за ветки потолка.

Катерина в ужасе закричала:

— Па-а-а-пка-а-а!

Но Федор не отзывался. Катерина осмотрелась и увидела ольху, не слишком хлипкую, подходящую. Попыталась наклонить ее, но не смогла — дерево непокорно пружинило и не давалось: еще, мол, чего удумала! Мокрая собака путалась под ногами, металась, заходила от лая. Катерина торопливо подпилила дерево у корня острым отцовским ножом, навалилась всем телом на ствол — тот со старческим скрипом подломился и рухнул в болото. Незнакомец, тяжело дыша, уцепился за ветки, но сил карабкаться у него уже не осталось. Катерина снова стала звать отца.

На этот раз Федор услышал. Мужчину он узнал сразу: это же Вольф из Бернова! Подобрался ближе, перескакивая с кочки на кочку, и, держась за ольху, схватил несчастного за руку, рванул изо всех сил и вытащил.

Николай, мокрый, грязный и обессиленный, повалился на пропитанную влагой, уже чующую осень траву. Собака зашлась лаем, подбежала и стала радостно носиться вокруг хозяина, лизать его лицо и руки. Он улыбнулся и ласково потрепал ее за шею, приговаривая: «Берта, Берта...» Успокоив собаку, отдышавшись, Николай подозвал спасителей:

— Благодарю. От всего сердца. Вы откуда будете?

— Из Дмитрова. Федор Бочков. А это дочка моя старшая, Катерина.

— Вольф Николай Иванович. — Николай обтер грязную руку о мокрую одежду — поздоровались.

Катерина с удивлением, не в силах скрыть свое любопытство, рассматривала спасенного человека: никогда не встречала помещиков.

— Да признал я вас, барин. Все деревни в округе вашими были — от Бернова до Курово-Покровского.

— Что же, времена теперь другие. Мое да не мое — не так, как у деда прежде.

— Да уж, слышали — дед-то ваш лихой был, что уж говорить.

Федор осмелел, присел на корточки, достал табачок, скрутил папироску и смачно затянулся:

— Как же вас, ваше высокородие, занесло-то сюда?

— На бекасов и коростелей охотился. Да как-то заплутал.

— И где ж ваши бекасы-то, ваше высокородие?

— А вон. — Николай указал на едва заметную тропинку рядом с трясинной — и правда, там распластался десяток настрелянных бекасов. — Ружье утонуло, жалко, отцовское.

Федор подобрал птицу:

— Ну, держи, ваше высокородие. — Он, громко вздыхая и поглядывая на Вольфа, в нерешительности топтался рядом. Хотелось и грибов успеть набрать, и награду какую-нибудь получить.

Наконец Николай сказал:

— Выведите из болота. Тут где-то лошадь у меня...

Федор засеменял по тропинке, показывая дорогу.

Катерина радовалась, что барин пошел с ними: интересно было рассмотреть его и послушать, как он говорил — совсем не так, как деревенские мужики, чудно.

— Так что, ваше высокородие, — сплюнул Федор, — мало вам охоты под Москвином-то? Там болота-то не такие, как здесь, не топкие, птицы много — ходи себе стреляй от души. Не иначе бес попутал?

— Твоя правда, — рассмеялся Николай. — Ночевал у матери в Малинниках. Хотел по округе пострелять, а там пусто. Поехал под Дарьино. Привязал лошадь на опушке, пошел по болоту. Десяток настрелял — и вдруг провалился, начисто увяз. Даже сам не понял как. Хорошо, собака стала лаять — дочь твоя услышала, спасибо ей.

— Да, свезло вам, барин, — удовлетворенно закричал Федор.

— Вот что, близко ли Дмитрово твое?

— Да версты две всего, пожалуй, напрямки-то.

— Ты отведи меня к себе обсушиться, а то как бы мне не слечь, — попросил Николай. — А я тебя отблагодарю.

Когда Николай добрался до Дмитрова, его залихорадило. Лошадь осталась на другом краю трясины, и, чтобы успеть до темноты, пока гнедую не сожрали волки, Федор поспешил обратно в лес.

Дома у Бочковых никого еще не было — набожная бабка Марфа не разрешала уходить с литургии до отпуска¹.

Бочковых в деревне считали слишком гордыми, хоть и жили они небогато: полторы десятины земли, лошадь, корова и две свиньи. Большинство² держала вдовая бабка

¹ До окончания богослужения.

² Бо́льши́на — старшинство, власть. Держать большинство — быть хозяином.

Марфа, все в деревне ее звали Бочихой. Рано осиротевшую, ее взяла в дом помещица Ртищева из Торжокского уезда и дала образование. А в тринадцать лет Марфу испортил муж помещицы — такого был горячего темперамента, что не пропускал ни одной юбки как в самом имении, так и в округе. Ни для кого похождения барина не были тайной: девки боялись его как огня. Не знала обо всем, как часто бывает, только сама помещица. Марфа в слезах сразу же прибежала жаловаться, но барыня сначала не поверила, а потом обвинила: «Нечего было хвостом вертеть».

Чтобы избежать пересудов и скрыть беременность, Марфу отправили трудницей¹ в Воскресенский женский монастырь, в Торжок, за тридцать верст. Там она научилась вышивать и шить: торжокские золотошвеи славились на всю Россию. Родила Федора, а через несколько лет вышла замуж в Дмитрове — вдовец Осип заметил ее в монастыре, куда приехал на богомолье. Жили хорошо, родили еще детей, но остались только Антонина и Мотя. Осип рано умер, и семью пришлось поднимать самой. Старуха Ртищева отыскала Марфу уже перед своей смертью, приезжала в Дмитрово, каялась — муж всех девок в округе «перетоптал», а теперь уже умер. Марфа не простила, но деньги все же взяла.

Вот и сейчас Бочковы выживали благодаря бабке. Несмотря на старость и плохое зрение, шила наряды, правда, теперь уже не золотом, как когда-то при монастыре, а обыкновенными нитками. За платья, поддевы, рубахи и полотенца хорошо платили: кто муки притащит, кто — зерна, отрез полотна или сахарную голову, а некоторые и деньгами благодарили. Иногда приезжали из самой Старицы. Если бы Федор деньги не пропивал и в долг не брал, жили бы припеваючи за счет этих заказов — «бабкина доля», как их в семье называли. Все понимали, что в не-

¹ Работницей.

урожайные годы только благодаря бабке Марфе хлеб с лебедой не ели. Вот и невестка Дуська лишний раз фыркнуть не смела.

Марфа жалела сына. Денег на опохмел всегда давала: «Что ж он, виноват, что доля у него такая выпала?» Федор ее беззаветно любил, почитал и слушался. Как только Дуська против матери что-то говорила — с молчаливого согласия Марфы стегал жену вожжами: «Что ж она буди мать обижать-то?»

Федора называли Барчуком. За глаза, конечно: пьяный злым становился, как сыч, кричал соседям: «Да ты знаешь, кто я такой?» Таскал жену за косы через порог и рогачом по бокам колотил. Дуська причитала: «Ай, ирод проклятый, рогач не сломай! Мать убьет — чем горшки в печь ставить будет?!» Но с возрастом засовестился, да и силы уже не те стали.

По Дмитрову Дуська ходила не Бочихой, а Ляшкой. Родом из переселившихся под Ржев поляков, но православная. Деньги носила при себе, пришпиленные булавкой под цветастым подолом, — боялась, чтобы Федор не прихватил, и не зря: он то на другое дело выпросит и пропьет, то сам прихватит, пока она в бане моется. На следующее утро, трезвый и размякший, обычно падал на колени, плакал навзрыд и крестился: «Прости, Христа ради-то! Только никому не говори, не позорь перед людьми-то!» Но и Дуська в долгу не оставалась — вытаскивала у пьяного деньги из сапога, пока спал. Марфа невестку недолюбливала: уж больно на язык была остра и Федором тайком руководила против материнской воли. Ну что ж — ночная кукушка дневную всегда перекукует.

Старшего сына Федора и Дуськи, Игната, убили в Японскую. Еще трое умерли во младенчестве: последний выпал из люльки на пол — закачали дети, одного Дуська «заспала», за что получила от батюшки епитимью: сорок поклонов и сорок раз «Отче наш» на сорок дней, а первая девочка обелась огурцов и запоносила — «Бог дал — Бог взял». Больше

Дуська не рожала: «золотник¹ опустился так, что не вправишь». Осталось трое: Катерина, Глаша и Тимофей. Черты склочных и ленивых родителей передались младшим детям Бочковых, Катерина же своим трудолюбием и благоразумием пошла в бабуку.

Вернувшись из леса, Катерина без разрешения Марфы принялась по-своему хлопотать по дому: усадила помещика, мигом затопила печь, поставила самовар и начала чистить и жарить грибы, которые успела собрать.

Усталый Николай, сидя на конике², попытался стащить чудом уцелевшие охотничьи сапоги. Намокшие, они мертвой хваткой вцепились в голени, словно опасаясь потерять хозяина. Катерина, давно привыкшая разувать пьяного отца, с улыбкой подошла и запросто опустилась перед Николаем на колени:

— Давайте подсоблю.

— Ну подсоби, коли не шутишь, — усмехнулся Николай.

Ее тонкие руки легко обхватили пятку сапога. Изумленный этим неожиданно мягким прикосновением и заботой, Николай не мог отвести взгляд от ровного загорелого лица Катерины с решительным подбородком, и особенно от ее глаз, голубых, с коричневыми крапинками. Из-под простого платка ее, который Катерина постоянно поправляла, выбивались русые пряди. Длинная, ниже пояса, коса всюду следовала за ней послушным веселым щенком. От этой еще девочки необъяснимым образом исходили такие магическое спокойствие, тепло и домашний уют, что захотелось сейчас же уткнуться головой ей в колени, чтобы по-матерински обнять, рассказать все-все, что гложет, что не дает покоя уже давно, вот уже несколько лет, с самой женитьбы. «Она непременно поймет, именно она — никто другой», — подумал Николай.

¹ Матка.

² На скамье.

Нисколько не смутившись, не замечая взгляда Николая, Катерина ловко стащила один сапог за другим и поставила их сушиться рядом с растопленной печкой. Там же разложила промокший и пропахший тиной китель.

— Ну и смелая же ты — не растерялась, дерево наклонила. Если бы вовремя не подросла, не сидеть мне здесь.

— Да что теряться? Делай, что надо, — и все.

— Ты одна у Федора? — спросил Николай. Ему захотелось больше узнать о Катерине, о ее жизни здесь.

— Еще Глашка и Тимофей — я старшая. — Катерина легким движением достала рогачом сковороду и, встряхнув, переженила светлицу картошку со смуглыми грибами и отправила обратно в печь. — Ох и достанется мне от бабушки, что сама без спроса печь затопила.

— Ничего, тебе отец велел. Да и случай исключительный — спасла меня из болота, а теперь от холода.

— И то правда, замерзли вы. Страшно было? — Катерина участливо стала доливать чай из самовара. Принесла пахучий золотой мед в горшке, прикрытом промасленной бумагой и обвязанном у горловины растрепанной, в узелках, веревкой.

— Да я смерти не боюсь, — признался Николай. — Никогда ничего не боялся, даже когда воевал в Японскую. А сегодня, в болоте, как будто схватил кто-то и тянет вниз. Что же, видимо, судьба моя такая — только и успел так подумать.

— Правда? — И без того большие глаза Катерины от страха стали огромными.

Николай не мог отвести взгляд и любовался ею. Стало вдруг душно, в горле пересохло.

— Вот те крест! — Не сильно набожный Николай исто-во перекрестился на деревенский манер на иконы в красном углу: ему вдруг захотелось приблизиться к ней, говорить как она. — Грамотная ли ты, Катерина?

Катерина замялась и вернулась обратно к печи:

— Бабушка и папка грамотные, а я — нет.

— Отчего же так?

— Бабушка говорит, нечего — замуж никто не возьмет, коли шибко умная буду, — так и не научила. А в школу нет возможности ходить — надо матери помогать, детей поднимать, — со вздохом ответила Катерина.

— А жених у тебя есть?

Катерина смущенно махнула рукой:

— Что вы! Рано мне, да и бабушка строгая — на вечерины не пускает. Говорит, настоящий жених сам найдется и сватать приедет.

— Да, такую красавицу подавно! Мигом засватают, не сомневайся, — сказал Николай, а сам подумал: «Что же такое со мной? Как околдовала!»

— Как Бог даст. Не мне решать.

— А хотелось ли тебе учиться? Читать? Писать?

— Очень хотела бы, но — как папка и бабушка велят — свою волюшку не сказывай.

Николай следил за тонкой девичьей фигуркой, то и дело мелькавшей у него перед глазами, и думал: «Бедная ты, бедная, покоряешься чужой воле, но иначе ведь тебе и невозможно...»

Зоркая Дуська, вернувшись домой раньше свекрови и детей, сразу заметила, как цепко Николай наблюдал за Катериной: «Ах, будь ты неладен — понравилась моя девка!» Всегда прижимистая и неприветливая, Дуська вдруг засуетилась:

— Неси чарку, Катька. Барину сугреться надобно, или что!

Самогон в доме не держали — Федор, словно обученная борзая, все находил и выпивал. Гнали, пока Федор на делянке работал, и относили к сестре, которая жила через несколько домов, — Мотин муж-эпилептик в рот ни капли не брал. Самогон был необходим в хозяйстве: в праздник водку не нужно было покупать и с работниками, если семьей не справлялись, можно было расплатиться. Была у Федора